

Герард Кимеликс

В ЛИХОЛЕТЬЕ

В 1938 году отец мой, Фелициан Луцианович Кимеклис, незадолго до того похоронивший жену и мою маму, Пляцуду Теофиловну, был брошен в застенки НКВД и через несколько месяцев погиб в Колымском спецлагере.

Старший инженер-экономист управления Томской, а позже Красноярской железной дороги, выпускник Томского технологического института и сын литовского бедняка-крестьянина, он простодушно верил в идеи социальной справедливости и благие намерения коммунистического режима. Сослуживцы отца - инженеры, получившие образование в старое время, также были схвачены и расстреляны.

Только в начале 90-х годов мне довелось ознакомиться с делом отца, хотя еще за несколько десятилетий до этого он был реабилитирован. В числе наиболее «тяжких» обвинений, стоивших отцу 58-й статьи УК РСФСР, значилось и такое анекдотическое, как добросовестность и пунктуальность при исполнении служебных обязанностей, чем он якобы маскировал свои антинародные замыслы.

Уже в 30-е годы начался официально не признаваемый, но фактически реальный голод. Не изнемогая в зловещих и унижительных очередях, без которых социализм существовать, видимо, не мог, в магазинах можно было купить разве только спички да соль. Все основные продукты питания и товары приобретались на рынке, и то если горожанин, прервав сон, успевал до рассвета занять там очередь в ожидании привоза. Днем идти на рынок было бесполезно - все раскупалось утром.

Хлебом, причем только ржаным, тяжелым и сырым, как глина, торговали с перебоями, и у булочных выстраивались огромные «хвосты». Помню, как я, подросток, который остался после потери родителей круглым сиротой, в пятидесятиградусный мороз, напялив на себя всю мыслимую и немыслимую одежду, в четвертом-пятом часу утра отправлялся к булочной, расположенной недалеко от нашего дома. У ее дверей меня уже ожидала огромная масса людей, которая издали в рассветной мгле была различима только по белесому облаку пара над ней...

К началу зимы 1939 года, когда была развязана война с Финляндией, положение с продовольствием ухудшилось еще больше. Первейшей, а вскоре и единственной кормилицей томичей стала картошка. Выращенная на огородах и заготовленная на зиму в мешках, подвалах и утепленных клетях, она несла в себе некое животворящее начало, которое давало людям шанс выжить в бесконечном и тщетном ожидании коммунистического изобилия.

Вряд ли возможно забыть разрушительное, неистребимое чувство голода, преследовавшее меня тогда постоянно и ежечасно, особенно к вечеру, перед сном. Чтобы избавиться от кошмара, я старался, забросив все дела, уснуть пораньше и тем самым выключиться из жизни. Временное небытие приближало меня к началу следующего дня, когда я, едва проснувшись, тотчас отправлялся в магазин за своими граммами хлеба. Огорода у меня -школьника - не было.

По части плохого снабжения советский Томск всегда был лидером среди городов Сибири - богатейшего в дореволюционные годы края. В 1940-м меня повезли в качестве участника художественной самодеятельности на областную олимпиаду в Новосибирск. По приезде туда я испытал нечто вроде шока, когда в первой же булочной на моем пути увидел на прилавках ковриги серого хлеба. Это было выше понимания: их можно было купить свободно!

Внешне жизнь в Томске шла как бы обычным порядком. На немощёных улицах города, вздымая облака пыли, молодежь играла в лапту и городки, на завалинках у домов сидели скучающие женщины, предлагая прохожим кедровые орешки в граненых стаканах с утолщенным дном (чтобы поменьше). По воскресеньям бурлила разноликая толпа продавцов и покупателей на «толкучем» рынке у Вознесенского кладбища, вечерами доносились отдаленные звуки духового оркестра в горсаду, прерываемые порой

визгивыми руладами чьей-то гармошки, в высохших канавах летом среди зарослей бурьяна и мусора предавались блаженному отдыху пьяницы...

Вопреки трагическим и противоречивым условиям своего существования город и в это время оставался Сибирскими Афинами, очагом духовной и интеллектуальной культуры края. В аудиториях учебных заведений студенты слушали лекции, по вечерам томичи торопились на спектакли, в залах Дома ученых и бывшего Общественного собрания звучала музыка Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского в прекрасном исполнении заезжих знаменитостей - Игоря Аптекарева, Григория Гинзбурга, Якова Флиера, Саула Корна, Михаила Гольдштейна, Квартета имени Бородина, а также местных музыкантов.

Осиротевшее, после уничтожения заботами НКВД старейших педагогических кадров, музыкальное училище пригласило на работу профессора Эрвина Баха - знаменитого немецкого пианиста и теоретика фортепианной игры. Еврей, он вместе со своей семьей был вынужден бежать из Германии, спасаясь от нацизма. После скитаний по Европе нашел убежище в Советском Союзе. Непродолжительное время преподавал в консерваториях Ленинграда, Москвы и Одессы, и вот - Томское училище. Мне посчастливилось быть студентом Эрвина Германовича, и я до сих пор с волнением вспоминаю наши занятия, овеянные романтикой высокого творчества, смелой, неординарной мыслью и человеческой мудростью. Его трагедия как теоретика пианизма заключалась в том, что разработанные им интереснейшие приемы фортепианной игры не всегда успешно сочетались с практикой. Это давало повод ретроградам и традиционалистам ставить под сомнение престиж Мастера.

Живя в Томске с женой и двумя очаровательными малолетними сыновьями, Бах бедствовал. Почти круглый год, независимо от погоды, он носил один и тот же костюм, пожертвованный ему горсоветом. Помимо фортепиано, преподавал немецкий язык и сольфеджио - для заработка. Его яркая, самобытная личность не вписывалась в педагогическую рутину. Став жертвой училищных интриг, подсиживаний и сплетен, весной 41-го он с семьей уехал в поисках лучшей доли в Мичуринск. Есть основания предполагать, что в Мичуринске он угодил, как немецкий подданный, в железные объятия советской охраны. К счастью, в конце 50-х годов Эрвин Бах был еще жив. Это подтверждает второе лейпцигское издание его капитального труда «Рациональная фортепианная техника» с собственным предисловием, датированным декабрем 1959 года. Фолиант этот, кстати, получил мировое признание.

Не могу не упомянуть друга моего дорогого учителя, у которого я занимался после отъезда Баха. Это Магда Францевна Мацулевич, замечательная пианистка и педагог, в 1910-е годы ученица легендарного профессора Петербургской консерватории Леонида Владимировича Николаева, современница Скрябина и Рахманинова, Зилоти и Глазунова, Прокофьева и Шостаковича, ценивших ее талант. В Томске она с первого дня немецко-фашистского нашествия возглавила училище и спасла его от закрытия. За что, видимо, впоследствии и провела восемь лет жизни за колючей проволокой Мариинского лагеря.

Духовная и нравственная красота этих людей, источником которой была музыка, помогла им выстоять в часы испытаний. Именно музыка и меня поддержала в те годы. Как утопающий хватается за спасательный круг, так и я, лишившись близких, уцепился за музыкальную школу, а позже - за училище, взяв себе в утешители Бетховена и Моцарта, Чайковского и Рахманинова.

С началом войны в порядке так называемого «уплотнения» в квартиры с постоянными жильцами вселялись эвакуированные, часто семьями, со стариками, детьми, нехитрым скарбом, который удалось вывезти, со страшным душевным грузом безнадежности, смятения и страха.

«Уплотнили» и меня, продолжавшего после гибели родителей жить в их квартире, которую семья наша снимала в доме профессора Габриэля Вогралака - чеха, одного из медицинских светил Сибири, также погибшего в застенках НКВД. Имущество наше, начиная от пианино и заканчивая кроватями, шкафами, буфетом и комнатными цветами, было снесено в маленькую комнатку. В центре, ее среди страшного нагромождения вещей

(за счет продажи которых, кстати, я тогда существовал) стояла чугунная печка-буржуйка, топившаяся каменным углем и раскалявшаяся порой докрасна. Ведомо лишь одному Богу, как мне и единственному, кроме меня, уцелевшему члену нашей семьи - кошке - посчастливилось не сгореть.

Жалких граммов крупы, масла, мясных продуктов, сахара, ежемесячно выдававшихся населению, часто с перебойми, едва хватало на несколько дней. А что дальше? Расцвел «черный» рынок, на котором по фантастическим ценам, несопоставимым даже с ценами постсоветского периода, продавали карточки, талоны, пропуска- в магазины закрытого типа. Предлагали и замусоленные, затертые прикосновением множества рук краюхи черного хлеба, нередко своего, пайкового, унесенного со скудного семейного стола, -если остро нужны были деньги. Скажем, на покупку лекарств. Ели лебеду и крапиву. Готовили из них что-то наподобие салатов и супы. Картофельные очистки не выбрасывали, они шли на варево.

Как и всегда, в первую очередь страдала интеллигенция. Неприспособленная к приземленным и грубым реалиям жизни, усматривающая смысл существования в интеллектуальном самовыражении и сотворении высших духовных ценностей, она понесла наибольшие моральные и физические потери в борьбе за право быть, дышать, мыслить. Почитаемый томский врач, спасший не одну человеческую жизнь, теперь часами стоял у прилавка булочной и, крадучись, стыдливо сметал с него в свою ладонь крошки хлеба, осыпавшиеся с лезвия хлебобрезки. Это был Плоскирев. Один из тысяч и тысяч отверженных и горемычных той поры. Кстати, лечивший некогда мою маму.

Моя первая учительница музыки, интеллигентнейшая и обаятельнейшая Вера Николаевна Рамзевич от голода лишилась разума, и ее часто видели с безумным, помутившимся взглядом сидящей на скамейке у дома по улице Герцена, где она жила. Погибли от голода ее мать Луиза Эрнестовна, прелестная пианистка, закончившая некогда Берлинскую консерваторию, и ее сестра Елена Николаевна, сотрудница университетской библиотеки. Помню и другую мою учительницу фортепиано, у которой я занимался в музыкальной школе, - Елену Александровну Садникову. Невысокого роста, хрупкая, внешне неприметная женщина, ученица незабвенной, расстрелянной сталинскими палачами Феофании Николаевны Тютрюмовой, она, чье сердце всегда было открыто добру и свету, ввела меня в истинный мир музыки и навсегда поселила во мне удивление перед ее нетленными ценностями.

Через дом от нас по улице Никитина жила семья Шишмаревых - мать и две взрослые дочери, свято оберегавшие посреди убогого убранства своей квартиры благородство дворянского происхождения и наивную чистоту нерастраченных душ.

Пишут и говорят о неисчислимых бедствиях ленинградцев в блокадном городе. Но никто не рассказал еще миру об ужасах голодных и холодных зим и весен в Томске военных лет, перенаселенном беженцами и почти неотапливаемом. От крайнего истощения и слабости люди падали на улицах подчас замертво.

... Зимой 1942 года мне предстояло проститься с музыкальным училищем. Надев военную форму, я перешел на режим армейской жизни в качестве слушателя Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта. Комнату в Томске пришлось бросить, родительский скарб раздать, перевезти к знакомым. Пианино, некогда подаренное мне отцом, я отвез к Валентину Ивановичу Попугаеву, известному в городе хирургу, брату моего сокашника и друга Гоши. К этому любимому пианино мне было суждено вернуться лишь после того, как отгремели последние залпы Великой Отечественной.

Опубликовано:

Краеведческий альманах «Сибирская старина». Томск. № 9.-1995 г. С.35-37.